

ЖУРНАЛ "DÆDALUS"

РИСК

RISK // Dædalus, Fall 1990, v.119, no.4.
 © American Academy of Arts and Sciences

От редакции. Номер журнала "Dædalus", посвященный теме "Риск", дает достаточно полное представление о наиболее популярных направлениях анализа этой проблемы в Соединенных Штатах. Так, большое внимание уделяется изучению рисков, связанных с состоянием здоровья (статьи П.Хубера; С.Клайдмена; Э.Берджера; А.Брандта; Р.Виддуса, А.Михеуса, и Р.Шорта; К.Хельцзауер и Л.Гордуса). Еще одна популярная тема – общественно-политические риски и их воздействие на формирование американской политики и политических институтов, а также законодательной системы (статьи Ш.Джасанофф; Х.Сапольски; Дж.Приста и Д.Хазарда). Для публикации в нашем альманахе мы отобрали работы, посвященные наиболее общим проблемам, затрагиваемым в современной западной "рискологии", и определяющие ключевые направления научного поиска в этой области. К их числу относятся вопросы исторической эволюции понятия "риск", анализ различных теорий восприятия риска человеческими сообществами и проблема распределения рисков и контроля за их последствиями. Предлагаемые вниманию читателей статьи М.Дуглас, Т.Лоуви, а также А.Виддавски и К.Дейка, публикуемые с небольшими сокращениями, представляются нам достаточно репрезентативными.

РИСК КАК СУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ

Мэри Дуглас

Mary Douglas. Risk as a Forensic Resource
 Перевод к.ф.н. А.Д.Ковалева

От "шанса" к "опасности"

Слово "риск" вновь обрело популярность. Одно из ходячих объяснений сводится к тому, что сильно увеличились опасности, исходящие от техники. И действительно, данный процесс наблюдается во всем индустриальном мире. Но некоторые другие виды риска уменьшились, по крайней мере, если цифры смертности и заболеваемости что-то значат. Поэтому, быть может, в первую очередь нуждается в объяснении обостренное политическое сознание (рискованности) техники. В Америке оно сильнее чем во Франции, (Duclos, 1989) и – предположительно – в России до Чернобыля. Некоторые склонны объяснять новое обращение к словарю риска в американской политике оживлением либеральной экономики с идеологией *laissez-faire*. В публикуемой ниже статье Теодора Лоуви показано, как идея XIX в. о заслугах занимающегося со-

пряженной с риском деятельностью индивида снова была введена в американскую политику. Превознесение умения рисковать взывает к добродетелям морали пионеров-колонистов (*frontier morality*), прерывая долгое, медленное движение к установлению коллективной ответственности за несчастные случаи. Но этот идеологический сдвиг сам по себе нуждается в истолковании. Американская политическая история не объясняет возрождения рыночной идеологии в Британии и в Китае, а в последнее время – в России и Восточной Европе. Вопрос в том, почему изменения в политических дискуссиях сказываются в разных странах на использовании терминологии риска. Ответ, предлагаемый здесь, состоит в том, что, во-первых, культура нуждается в каком-то общем "судебном" словаре, с помощью которого можно удерживать людей вменяемыми, ответственными за свои поступки, и, во-вторых, *риск* – это слово, которое превосходно обслуживает судебные потребности новой глобальной культуры.

Цель данного очерка – определить место понятия риска, сравнивая его нынешнее употребление с аналогичными понятиями в других временах и странах. Став одним из центральных культурных новообразований в Америке, слово изменило свой смысл. Вхождение в политику ослабило его связь с техническими исчислениями вероятности. В XIX в., когда теория риска стала играть важную роль в экономике, люди считались существами, не расположенными к риску, поскольку предполагалось, что они делают свой выбор согласно гедонистическому расчету. Чтобы рисковать, собственнику фирмы нужен особый стимул высокой прибыли, иначе он не станет инвестировать капитал. В еще более отдаленном прошлом, в XVIII в., анализ риска имел важные применения в морском страховании. Шансы корабля благополучно вернуться домой, принеся прибыль его владельцу, сопоставлялись с шансами его гибели в море, несущей разорение. Сама по себе идея риска была нейтральной, основанной на подсчете вероятности потерь и приобретений. Отступив еще дальше в прошлое, мы увидим, что это понятие возникло в XVII в. в связи с азартными играми. Для них был разработан специальный математический анализ шансов. *Риск* тогда означал вероятность появления некоторого события в сочетании с величиной потерь и выигрышей, которые оно повлекло бы за собой. С XVII в. анализ вероятностей становится основой научного знания, преобразуя природу очевидности, знания, авторитета и логики (Hasking, 1975). Любой процесс или любая деятельность имеют свои вероятности успеха или неудачи. Исчисление риска пустило глубокие корни в науке и производстве, а также в качестве теоретической базы для принятия решений. Ясно, что теория вероятности во многом определила пути современного мышления.

Согласно Эрнесту Геллнеру, переход к современному индустриальному обществу "с объективной неотвратимой необходимостью" навязывает культурную однородность: "Культура уже не является простым украшением, подтверждением и легитимацией социального порядка, который поддерживали также более грубые и принудительные средства; культура теперь – необходимый общий посредник, животворный источник или, возможно, та минимальная общая среда, в которой только и могут дышать, выживать и производить члены общества. Для данного общества среда, в которой все смогут дышать, разговаривать и

работать, должна быть одна. То есть это должна быть одна и та же культура... и она не может и дальше оставаться расходящейся по разным направлениям, узкоместной, бесписьменной малой культурой или традицией" (Gellner, 1984, p.37–38).

В соответствии с такой логикой понятие риска должно было бы уже выйти на передний план в политике, поскольку вероятностное мышление широко распространено в промышленности, современной науке и философии. Риск давно стал бы характерным политическим жаргоном как часть процесса гомогенизации, приближающего нас к новому мировому уровню взаимодействия. Однако тот риск, который как центральное понятие присутствует в наших политических дебатах, имеет мало общего с исчислениями вероятностей. О первоначальной связи говорит лишь слабое указание на возможное направление науки: если слово *риск* теперь означает – опасность, то *высокий риск* – много опасностей.

В упомянутом очерке Геллнер пишет, в частности, о роли образования и разделяемой всеми культуры как необходимой части инфраструктуры национализма. Он не говорит, как "неотвратимый императив" навязывает свои веления или где источник его авторитета: процесс нарастания однородности имеет результатом производство некоторых ключевых слов, которые охватывают область согласованных понятий. Но почему при становлении одного из ключевых слов этот процесс должен избавлять "риск" от первоначального значения?

Дело в том, что пружинной изменении здесь служит спор об ответственности, который непрерывно продолжается в любом сообществе. Этот диалог, культурный процесс как таковой, есть соревнование за поддержку именно данного, а не другого рода деятельности. Решения инвестировать в технологии больше или меньше – это результат культурного диалога. Решения о расширении дела, запрещении иммиграции, лицензировании, об отмене соглашения – все эти ответы на разные притязания нуждаются в поддержке со стороны институтов права и судебной власти. Поэтому культурный диалог лучше всего изучать в те моменты, когда он приобретает характер судебного. Понятие риска выходит на поверхность как ключевая идея новейших времен, благодаря его применению в качестве судебного механизма.

Чтобы хорошо исполнять роль в новой культуре, слово должно иметь значение, совместимое с модными политическими претензиями. Если изменения состоят в переходе от малых местных общин к мировому обществу, то ключевые слова нужны, чтобы оправдать расставание со старыми ограничениями и обязательствами. Новый смысл слова "риск" работает потому, что допускает сильнейшую тенденциозность в пользу такой эмансипации. В контексте общей привязанности к эмансипации смысла "риска" скорее всего будет соотноситься только с опасностью. Если первоначально высокий риск означал игру, в которой кости весьма вероятно могли выпасть так, чтобы привести к крупным потерям или неприятностям, то теперь "риск" относят только к отрицательным результатам. Слово фиксировано для обозначения "плохих" рисков. Обещание чего-то "хорошего" в современной политической речи выражают в других терминах. Язык риска зарезервирован в качестве специализированного лексикона для политических разговоров о нежелательных результатах. "Риск" призывают на службу для выпадов против злоупотреб-

лений власти. Обвинение в создании обстановки риска – это дубинка для битья авторитетов, средство расшевелить ленивых бюрократов, вырвать возмещение для жертв. Для всех этих целей разом "опасность" была бы правильным словом, но плоская "опасность" не имеет ауры научности или претензий на возможный точный расчет.

Грехи и табу

Все исторические культуры пребывают в состоянии перехода. Культурная стабильность кратковременна, однородность достигается с трудом и всегда готова исчезнуть. Находясь внутри собственной культуры, отдельное лицо склонно не замечать вокруг себя культурно стандартизированных форм: преступание, грех против нормы всегда заметнее подчинения ей. Внутренний опыт культуры – это опыт выбора и решений, ревниво наблюдаемых и судимых близкими и прессой. Привычный туземный взгляд не улавливает регулярностей, но, как только туземец попадает за границу, обычно его сильно поражает стандартизированное поведение иностранцев. Наивное воззрение на культуру таково, что ее будто бы нет дома, в своей стране, и только за границей люди живут в культурных тисках. Нужны специальные усилия и некоторая умственная тонкость, чтобы разгадать свою собственную культуру. Мы нормально ориентируемся в ее незамечаемых интеллектуальных границах в той мере, в какой сами страстно вмешиваемся в культурный диалог о справедливости и вероятности того, что мир сделает с людьми, если они будут пренебрегать его реальными условиями. Один из способов преодолеть культурную слепоту – это быть внимательным к тому, как толкуются требования власти-авторитета и общественной солидарности. В продолжающемся культурном диспуте о справедливости и [реальном] мире обычно присутствует какая-то идея опасности. Эти дебаты испытывают давление то стремления к эмансипации от старых институциональных ограничений, то стремления укрепить институты, в которых сосредоточены власть и солидарность. Лозунги справедливости и опасности служат источниками риторики для всех партий. На этих весах постоянно взвешиваются и всегда пересматриваются понятия обязанности и правонарушения. В этом отношении новейшему поколению не следует воображать себя отличным от любого другого. Современники неизбежно вовлекаются в культурный диспут и принуждают друг друга к культурному конформизму.

Большинство малых локальных культур вырабатывает для морализации и политизации опасностей какой-то общий термин, который пронизывает всю ткань социальной жизни. В доиндустриальную эпоху на Западе христианство использовало для этого слово "грех". Сам факт, что это слово стало общепонятным, есть знак достигнутой культурной однородности. Тогда думали, что большой грех может напустить опасности на всю общину или поразить бедой самых близких и дорогих грешнику людей. Еще до "плохого" события грешник на грани падения мог вспомнить о своей ответственности и вовремя удержаться. Когда же дурное событие случалось, его исток можно было обнаружить в известном грехе. И до христианства Библия полна такими толкованиями событий: поражение израильтян в битвах, разрушения от землетрясений, чума и засуха приписывались божьему гневу за грехи. Публичные рассуждения об

опасностях греха мобилизовывали моральное сообщество. Казалось бы, все это далеко от современного обесцвеченного дискурса о риске.

Грехи и табу – необходимая принадлежность дискурса о религиозной вере. Открывая большому миру замкнутые общины и тем сметая преграды свободному движению индивидов, индустриализация также способствует религиозному скептицизму как составной части того же культурного процесса гомогенизации. Культурные контексты "риска" и "греха" кажутся при этом совершенно несовместимыми. Но если бы западная индустриальная демократия когда-нибудь построила однородную культуру, использующую единый словарь для морализирования и политизирования окружающих нас опасностей, она уже не смогла бы воспользоваться словарем религии. Нейтральный словарь риска – это все, чем мы располагаем для наведения моста между известными фактами бытия и созиданием моральной общности. И это объясняет, почему публичный дискурс о современных видах риска ступил на старый путь. Слова "риск", "опасность" и "грех" используют по всему миру, чтобы снизить либо подорвать доверие к политике, защитить либо индивидов от хищнических институтов, либо институты от хищных индивидов. По сути, риск обеспечивает мирские термины для переписывания одной из заповедей писания: не грехи отцов, но "риски", высвобожденные отцами, падут на головы их детей, вплоть до двенадцатого колена.

Конечно, риск – не то же самое, что грех или табу. Но его отличия не совсем такие, какими они могут показаться на первый взгляд. С нашей точки зрения, современной, скептической и мирской, табу и грехи словно бы ориентируют на прошлое: сперва несчастье, затем объяснение его причины каким-то более ранним проступком. Напротив, риск, по видимости, ориентирует на будущее: это понятие используют, чтобы оценить опасности заранее. Но не в этом действительное различие между "дискурсами" о риске и о грехе. Точка зрения наблюдателя обманывает. Смотря на грех и табу с мирских позиций, мы привносим наше собственное знание об отсутствии связи между преступлениями против морали и, скажем, погодой или распространением болезни. Связь, которую религии обычно проводят между грехами и несчастьями, дана в них вместе с остальной частью религиозных представлений о природе. Модель того, как работает мир, задействована постоянно, и "грехи" работают на будущее точно так же, как "риски". Самое "имя" греха – это часто пророчество, предсказание неприятностей. Поэтому живущим вместе людям сперва приходит искушение ко греху, а потом – мысль о будущем возмездии, затем следуют предостережения друзей и родственников, нападки врагов и, возможно, возврат на "праведный путь", прежде чем причинен серьезный вред. Заметное различие видно не в предсказательных использованиях понятия риска, а в его "судебных" функциях.

По мере того как сообщество достигает культурной гомогенности, оно начинает составлять "дорожные указатели", обозначающие моменты наиболее опасного выбора. Эти знаки говорят, что определенные виды поведения очень опасны. Таким образом, можно сказать, что сообщество достигло некоторого (вероятно, временного и хрупкого) согласия в осуждении известного поведения. Готовыми примерами здесь могут служить богохульство, лжесвидетельство, предательство, подстрекательство к

бунту, неуважение к старшим. Дух общественного неодобрения подкрепляет веру, что определенные деяния опасны. Доверчивое отношение чужестранцев к разным табу, которое удивляет нас, возникает там, где информация о причинах наименее согласована. Без профессиональных институтов, способных сузить вопрос и поставить его на эмпирические рельсы, торжествует судебная функция бедствий. Мы встречаемся с такой же доверчивостью к объяснениям судебного типа на далеких окраинах профессионального мира. Вот почему эта периферия щедрa на новации и почему так мало из этих новаций можно перевести в практику истеблишмента.

Существует еще одна причина привлекательности "судебных" применений жупела опасности. Кто может попасть в их сети? Прежде всего сами жертвы несчастий, которых хочется обвинить в чем-то неблаговидном. Людям хочется видеть некое соответствие между масштабом несчастья и греховностью того, кто его допустил. Предупреждение риска включает перечень заслуженных дурных последствий для нарушителя, его семьи и друзей. Если округ считается политически нелояльным, то именно эту "измену" глава администрации и его приспешники могут объявить ответственной за местную засуху. Женщина, умершая в родах, оказывается примером опасности беспорядочных половых связей. Опасность сама по себе обвиняет отступников в ущербности. Здесь нет ничего от выводов *post hoc* о существовании некоей постоянной связи, которая действует в обоих направлениях. Только когда ослабевают согласие в сообществе относительно обязательств политической лояльности или слабеют родственные обязанности и супружеская верность, становится видна слабость этой причинной связи.

Опасность в контексте запретов (табу) используется в риторике обвинений и обещаний возмездия, чтобы крепче связать индивида сетью общественных обязательств и оставить в его уме невидимые преграды и дорожки, с помощью которых сообщество в общих чертах координирует его жизнь. Благодаря своей заинтересованности в этих границах, индивиды могут получить свою долю территории и ресурсов для ее защиты. Современное понятие риска, такое же фрагментарное ныне, как и опасность, вызвано к жизни, чтобы защитить индивида от посягательств других. Оно – часть системы мышления, поддерживающей тот тип индивидуалистической культуры, который способствует экспансии индустриальной системы (вот почему риск – такой важный предмет для Америки). Экспансия была огромной; сейчас наблюдается некоторое ее замедление, но возможно и новое усиление. Дискуссии о риске играют ту же роль, что грех или табу, но имеет уклон в противоположном направлении: от охраны общественного союза к защите индивида.

Это не дает ясного понятия о табу: оно действует не только против индивида. Понятие табу, как и понятие риска, может поддерживать народный протест против правительственной власти. Пока существует общее согласие, что индивиды нуждаются в защите, обычно имеется и список опасностей, на который ссылаются, чтобы ограничить произвол власти. Вспомним: царей Израильских, не строго соблюдавших культовые обряды, обвиняли в том, что они навлекли на свой народ военное поражение, чужеземное порабощение и даже засуху. В

шекспировском цикле исторических хроник, предмет которых – королевская власть во время войн Алой и Белой Роз, проводятся сходные идеи о наказании королевского произвола и угнетения. Однако до сих пор имеется асимметрия в использовании слов "риск", "грех" и "табу", поскольку современное выражение "быть в рискованной ситуации" (being "at risk") не тождественно, а противоположно "пробыванию во грехе" (being "in sin") или "под табу" ("under taboo"). "Находиться в рискованной ситуации" равносильно тому, чтобы быть существом, против которого грешат, существом, уязвимым для событий, причиной которых были другие, тогда как быть "во грехе" означает быть причиной вреда. Риторика в категориях греха и табу чаще используется, чтобы поддержать сообщество, уязвимое для дурного поведения индивида, в то время как риторика в категориях риска поддерживает индивида уязвимого для "дурного поведения" сообщества. В очерке Эдуарда Берджера (Edward Berger) "Здоровье как заменитель окружающей среды" в данном выпуске "Дедалуса" показано, почему политические действия в защиту среды должны быть поданы так, как если бы они специально предназначались для защиты личного здоровья людей. В такой форме они выглядят как "политические действия не под тем знаменем", но в действительности сплотить людей можно только под этим знаменем: защита каждого отдельного человека. Новый общественный диспут о риске обычно не защищает коллективное благо, в отличие от старинного спора о грехах. Эссе Бергера предлагает гипотезу, почему Франция, Россия и Англия политически меньше встревожены технологическим риском: такое положение прямо не связано с характеристиками технологии или опасности, но скорее подразумевает, что Америка дальше ушла по пути культурного индивидуализма и потому может лучше использовать судебный потенциал идеи риска.

Риск и действительность

Заметим, что реальность опасностей как таковая здесь не оспаривается. Опасности ужасающе реальны в обоих случаях: и современном, и досовременном. Мы рассуждаем не о реальности опасностей, но об их политизированных формах. Удивительно, сколько умных рецензентов "Риска и культуры" (Douglas and Wildavsky, 1982), в том числе и антропологов, попадают в ловушку, полагая, будто такие рассуждения бросают тень сомнения на реальность опасностей (Winner, 1982; Karpow, 1985; Johnson and Covello, 1987). В доиндустриальном мире ожидаемая продолжительность жизни мала, часто не более 48 лет; коэффициенты смертности высоки для всех, но детская смертность может превышать 25%. Женская смертность при родах очень велика. Истощение, голод и болезни – вечные угрозы. И кажется плохой шуткой принимать этот анализ даже за легкий намек на то, что упомянутые опасности – воображаемые. Риск в индустриальном мире равно реален. Аргументация на базе межкультурных сравнений не работала бы, если бы опасности были фиктивными. Культурно наивные пересуды не получали бы распространения, если бы опасности не были реальными. Общественное обсуждение всегда связывает некую реальную опасность и какое-то неодобряемое поведение, классифицируя опасности по характеру угрозы ценным институтам. Для нас высо-

коценный институт – это индивидуальная свобода. И если суровые табу удерживают женщину в браке, то мы сумеем доказать, что брак – не простое партнерство мужчины и женщины, но сложная цепь союзов, главный институт, управляющий процессами производства и воспроизводства людей. Если подстрекательство к бунту считается спусковым механизмом климатических беспорядков, тогда, будьте уверены, политическая солидарность и ненадежна, и желанна.

Наблюдая, как мы, сообщество извне, легко увидеть, что опасности (реальные опасности) используются для того, чтобы дать автоматическую, самооправдательную легитимацию установленному правопорядку. Мы видим их карательную или устрашительную функции. Но это только половина дела. Люди, боящиеся табу, видят опасности и их связь с моралью как часть работы мирового механизма. Если они качают головами и говорят об умершей при родах женщине, что она получила то, что заслужила, так это потому, что адюльтер для них непреложно связан с ненормальными родами как огонь связан с горением. Табу работает, потому что сообщество верующих выработало общее согласие относительно тех видов солидарности, которые должны помогать им коллективно справляться с осаждающими их болезнями, несчастными случаями и военными угрозами. Члены сообщества управляют со своими рисками, мобилизуя солидарность, и призывают пугало опасности, чтобы сохранить существующие различия. Возможно, что солидарность – более трудная проблема для них (Douglas, 1986), или может быть так, что нарушение и потеря солидарности затрагивают нас меньше. Это могло бы объяснить, почему так трудно все время видеть самих себя в одной и той же перспективе: дискурс в понятиях греха и табу нацелен на консервацию традиционной солидарности, тогда как дискурс вокруг риска имеет в виду ее рассредоточение и исчезновение социальных разделений.

В ходе культурного диспута о риске и справедливости оппоненты стремятся обвинить другую сторону и освободить от вины своих сторонников. "Риск" весьма недвусмысленно используют для обозначения опасности от будущего вреда, причиняемого оппонентами. Степень риска – дело экспертов, но обе стороны в споре обычно считают доказанным, что вопрос решен и ясен. Всякий, кто настаивает, что степень неопределенности здесь весьма высока, воспринимается как апологет безответственности.

Наивная модель риска

Наивная модель риска хорошо работает, когда диспутанты имеют согласное мнение о виде ответственности, который они хотят внедрить в своем сообществе. Суждения на основе фактов обеспечивают путеводную нить для моральных суждений лишь в том случае, когда цели не оспариваются. Анализ риска может подсказать вам с очень высокой степенью точности вероятность наступления конкретного события – один шанс на миллион, на тысячу и т.д. Подобный анализ может информировать вас о том, сколько стоит предотвратить событие, застраховаться от него, какова стоимость компенсации за него или даже о шкале возможных выигрышей, которые были бы следствием этого события. Все детали такой информации необходимы, если стороны со-

гласны относительно целей общества. И ничто из этого не пригодно для решения, которое в корне отвергает одна из сторон.

Согласие не зависит от признания фактов. И согласие среди ученых как общественной группы не гарантирует согласия среди широкой публики. Профессиональные психологи, которые стали изучать восприятие риска, принимают для себя культурно наивный подход, толкуя политические расхождения как интеллектуальные разногласия. Пытаясь пренебрегать борьбой за власть, обуславливающей различия во мнениях о риске, этот профессиональный подход упускает главное. Оценку восприятий риска публикой психологи стремятся довести до той же степени объективности, что и в самом вероятностном анализе риска, и аналогичными методами. К сожалению, эту попытку губит культурно наивное допущение, будто культурные предрассудки (тяготения, предпочтения) не имеют к нам отношения в родной стране, будто культура это что-то начинающееся за границей, у экзотических народов.

Использование наивной модели восприятия риска обычно приводит к заключению, что надо повысить уровень образования введенной в заблуждение публики. Но при демократии нельзя ожидать, что образование изменит политические привязанности масс. Профессионалам, работающим внутри своей цеховой культуры, свойственно находить, что публику нужно лучше информировать по конкретным вопросам, – в данном выпуске “Дедалуса” такую точку зрения представляют, например, Roy Widdus, Andre Meheus и Roger Short, описывающие популярные заблуждения относительно болезней, передаваемых половым путем, и Kathy Helzlsouer и Leon Gordis в своем очерке о факторах риска для здоровья. Очевидно, если бы публика была лучше осведомлена во многих предметах, это помогло бы проводить политику оптимизации риска. (К примеру, было бы легче обсуждать энергетические проблемы, если бы многие люди не были убеждены, что причина кислотных дождей – в атомных станциях.) Но в высшей степени маловероятно, что улучшение информации и повышение образования примирят расхождения во мнениях по проблеме риска.

Риск – это не только вероятность события, но также и его вероятные масштабы, и все зависит от ценности, которую придают этому событию. Оценивание – процесс политический, эстетический и моральный. В практической жизни частные решения по риску принимаются путем сравнения многих рисков и их вероятных хороших или плохих исходов. Ни один элемент риска, как правило, не будет рассматриваться в изоляции. И умственная деятельность не осуществляется в изоляции. В публикуемой ниже статье Арона Вилдавски и Карла Дейка показано, что политическое предпочтение (предрассудок) есть мощнейший инструмент предсказания установок по отношению к риску. В сущности, любая теоретическая конструкция вынуждена выходить за пределы культуры, в которой обсуждаются проблемы риска.

Культурная теория начинается с посылки, что культура – это некоторая система, состоящая из личностей, которые считают друг друга и взаимно вменяемыми и ответственными. Человеческая особь пытается жить, придерживаясь известного уровня ответственности, переносимого для нее и сравнимого с уровнем ответственности, на котором она хотела бы

держат других людей. С этой точки зрения культура предстает наполненной подразумеваемыми политическими предпосылками взаимной ответственности. И представление об изолированном индивиде, проверяющем каждую новость без предрассудков или моральных привязанностей, уступает место предположению, что человек процеживает возможную информацию сквозь фильтры коллективно созданной цензуры в соответствии с данными стандартами ответственности. Это выглядит так, словно в человеческой голове имеется своего рода конституционное сканирующее устройство, занятое проверкой поступающих новостей. Критерий отбора усваиваемого знания или отбраковки простых шумов – в ответе на вопрос, будет ли новая идея или факт подкреплять излюбленную политическую схему субъекта. При такой послышке бесполезно изучать восприятие риска без систематического учета культурных предрассудков. Объекты психологического исследования берут с собой в экспериментальную кабину какую-то идею о том, что такое длительность, предчувствие, долго ли подопытный сможет получать там удовольствие, и, наконец, практический опыт столкновений с неравными и равными шансами в повседневной жизни. Вполне осуществима разработка вопросников, которые сортировали бы подопытных по их культурным предрассудкам, прежде чем браться за их реакции на вероятные потери.

Культура и знание

В нескольких очерках, публикуемых в этом выпуске “Дедалуса”, отмечается, что знание “уходит на сторону”. Альтернативное знание в медицине и праве успешно отвоевало место рядом с официально признанным знанием. Никто не предлагает нам полной определенности, даже в науке. Когда мы жили в иерархической культуре, мы обычно думали, что всякий предмет знания определен либо как истинный, либо как ложный; факт был фактом и, как таковой, гарантировал дедуктивные умозаключения из него. Теперь, когда мы находимся под властью индивидуалистической культуры, соревнование между истиной и ложью продолжается; знание приходится защищать в каждом пункте; открытое общество ничего не гарантирует. Каждый тип культуры опирается на свою отличительную установку по отношению к знанию. Иерархия – и как система правления, и как тип культуры – предполагает, что мир до сих пор познаваем и что сама иерархия организована согласно принципам, движущим вселенную. Следовательно, тот консенсус, что поддерживает политическую систему, поддерживает и авторитет фактов. Самозащитные политические усилия иерархии переходят и в защиту системы знания, с которой она отождествилась. Доверие к своему старому знанию – фирменный знак иерархии. Индивидуализм как тип культуры платит дань новому знанию. Индивидуализм – это не столько формальная система правления, сколько состязательная рыночная система; даже применительно к идеям и фактам его контролирующие принципы встроены в систему рыночного обмена; весьма характерно, что сообщество выносит решение о границах дозволенного через ценовой механизм. Новое знание волей-неволей должно дискредитировать старое знание. Очень хорошо сознавая, почему мы хотим нового знания, мы не должны удивляться неопределенности, которая наступила из-за этого.

Как показывает в публикуемой ниже статье Т.Лоуви, конкурентный рыночный индивидуализм нуждается в политической базе, чтобы обеспечить свою безопасность. Точно так же иерархической культуре нужна экономическая база. Не может быть рынка без сопутствующей политической культуры, и не может быть иерархии без экономического обмена. Тем не менее говорят: культура индивидуализма жестко ограничивает, как и что может делать правительство, а культура иерархии сурово ограничивает рынок. Хотя они должны сосуществовать, их баланс в каждом отдельном случае столь различен, что каждый случай требует и разного мировоззрения, чтобы поддержать этот баланс. Гомогенизирующий воспитательно-образовательный процесс, который Геллнер описывает в качестве базиса национализма, есть также необходимый базис культурного предрассудка, культурной тенденции, но действительный источник преобразований находится в суде, а не в школьной аудитории.

Апелляции к определениям степеней риска, оцененных уполномоченными на то экспертами, – это обращения к внешнему арбитру, независимому, объективному судье действительного положения дел, справедливых и несправедливых претензий. Вообще, воззвание к профессиональным экспертам решить вопросы ответственности срабатывает, когда их методы и их результаты поддержаны властью. На месте судьи должен быть кто-то вроде Соломона, чтобы вынести приговор, которого никакие свидетельства сами по себе не обеспечивают. В современных условиях апелляция к науке существует из-за отсутствия уважения к любому третейскому судье. Роль Соломона ныне неприемлема. Самая идея, что может быть найдено техническое решение какого-либо разногласия относительно выбора целей и средств, показывает, что политическое примирение отвергнуто. Предсказуемое последствие использования науки в политике состоит в том, что обе спорящие стороны будут консультироваться со своими собственными научными экспертами. Peter Huber в данном выпуске “Дедалуса” описывает, как одна культурная периферия призывает другую: периферийные движения находят технические советы у периферийной науки и усиливают раскол между центром и окраиной. Его собственное энергичное предупреждение, что пограничная наука бесплодна, есть видоизмененная форма дискредитации науки как таковой. Когда в этих условиях науку используют как арбитра, она в конце концов теряет свое независимое положение подобно священнослужителям, смешивающим политику с высоким ритуалом, окончательно дисквалифицируется. Этот процесс весьма впечатляюще описан в книге Брайана Уинна о связи между суетой вокруг риска и социологией знания (Wynne, 1987).

Если чаша весов культурного изменения склоняется в сторону все более распространяющегося индивидуализма, то это не потому, что он навязан нам. Мы, диспутанты на форуме культуры, проводим его в жизнь потому, что хотим его. Если основания знания начинают казаться более ненадежными, то это потому, что мы уже давно потихоньку их подрывали. Поступая так, мы отсылаемся на возможности, предоставляемые мировой индустриальной системой. Каждый маленький сдвиг в правовой структуре может быть оценен с точки зрения сохранения или разрушения ею здания организованной солидарности. Продвижение к культуре индивидуализма выдвигает знание на передовую

линию политической конкуренции именно потому, что культура несовместима ни с властью, ни с застывшей структурой. Кто бы ни оплакивал получившиеся результаты, все равно он должен рассматривать альтернативы. Изображение самой политической системы у Харви Сапольски (Harvey Sapolsky) в данном выпуске "Дедалуса" как изрядной опасности для американцев замечательно по существу, но в таком ракурсе каждая политическая система представляет изрядную опасность, так или иначе, для того или другого. Наилучший путь сохранить холодную голову в отношении здоровья и других опасностей – это сознать себя при выборе между культурами.

ЛИТЕРАТУРА

- Duclos D.** La Peur et le Savoir: La Société Face à la Science, la Technique et leurs Dangers. Paris: Editions de la Decouverte, 1989.
- Douglas M.** How Institutions Think. Syracuse (NY): Syracuse University Press, 1986.
- Douglas M. and Wildavsky A.** Risk and Culture. Berkeley: University of California Press, 1982.
- Gellner E.** Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell, 1984.
- Hacking I.** The Emergence of Probability, a Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
- Johnson B. and Covello V.** The Social and Cultural Construction of Risk: Essays on Risk Selection and Perception. Dordrecht: Reidel, 1987.
- Kaprow M.** Manufacturing Danger: Fear and Pollution in Industrial Society // American Anthropologist, v.87, 1985, p.357–364.
- Winner L.** Pollution as Delusion // New York Times Book Review, 1982, no.8.
- Wynne B.** Risk Management and Hazardous Waste, Implementation and the Dialectics of Credibility. Berlin: Springer, 1987.

РИСК И ПРАВО В ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Теодор Лоуви

*Theodor J. Lowi. Risks and Rights in the
History of American Governments
Перевод д.и.н. Б.М.Шнотова*

В своем первом письме от октября 1988 г. комитет по подготовке этого выпуска "Дедалуса" со сдержанностью, присущей жителям Новой Англии, отметил, что "тема риска в наши дни пользуется определенной популярностью". Чем это объясняется? Моя коллега Мэри Дуглас изложила свою точку зрения на этот вопрос в первой статье номера, но ее подход лишь отчасти объясняет значимость проблемы распределения риска. Эта проблема снова на повестке дня – и в государственной политике, и в публичных дискуссиях, поскольку наряду с объективными условиями кардинально изменились идеология и ценности, влияющие на распределение риска. Я исхожу из обоих моментов, но больше учитываю второй, в котором можно выделить три фактора.

Первый состоит в том, что идеология *laissez-faire* обрела прежнюю репутацию и авторитет в политических дискуссиях. Второй выражается в демократизации процесса контроля риска и возмещения ущерба от него, ориентированного уже не на высшие, а на низшие слои общества. Третий – проявившееся позже первых двух стремление к такой государственной политике, при которой выгоды регулирования риска находят выражение в правах на него.

Что касается первого фактора, то утверждения о пользе индивидуального риска для общества являются хорошо известным элементом либерализма XIX в. Когда этот вид либерализма, впоследствии ошибочно переименованный в консерватизм, проявился у республиканской администрации благодаря таким людям, как Милтон Фридмен, о достоинствах риска заговорили вновь. Между сопряженной с риском деятельностью (*risk taking*), прибылью и производительностью существует очевидная связь, и исключение первой переменной почти всегда влияет на две остальные. Между тем сила и характер этой связи во многом основаны на мифах. Когда сторонники Рейгана, придя к власти, с ужасом и отвращением говорили о попытках прежних администраций создать в Соединенных Штатах "общество, свободное от риска", они давали выход загнанным в глубь чувств американцев. При этом игнорировалось, что наиболее рьяные критики доктрины избавления от риска сами относились к наиболее защищенной от него части общества.

Второй идеологический фактор – демократизацию риска – можно называть объективной реальностью, усиленной идеологией. Демократизация риска может происходить на любом из его полюсов. С одной стороны, риск демократизируется, когда все члены общества подвергаются равной опасности – например, в случае тотальной войны. Каждый может стать объектом нападения, каждому приходится жертвовать всем, в том числе собственной жизнью, и благодаря современным системам вооружений каждый имеет практически равный шанс быть раненым или убитым. Общество можно "увести" от демократизации риска политическими средствами, защитив от него некоторые категории лиц, разрешив богатым платить тем, кто пожелает рисковать вместо них, и т.д. В то же время риск можно демократизировать, предоставив каждому право пользоваться (на добровольных началах) коллективной защитой от риска или, по крайней мере, от того ущерба, который возрастает по мере увеличения риска. В этом смысле государство всеобщего благосостояния можно определить как государство, осуществившее частичную демократизацию риска. В ответ на значительное расширение государственных программ благосостояния в конце 60-х годов зазвучали жалобы на издержки контроля риска. Один критик писал по этому поводу:

"Возник новый социальный порядок, начало которого ознаменовалось тем, что граждане стали возлагать надежды на свое правительство в деле решения ряда... проблем. Этот порядок включает давление на правительство с целью уменьшения почти всех видов риска, бремя которых может достаться каждому. Налицо тенденция не рассматривать рационально мыслящего индивида как человека, который сам расплачивается за сделанный им выбор, и стремление к социально обусловленному распределению риска... чтобы переложить ответственность за будущий и теперешний риск с индивида на все общество" (Aharoni, 1981, p.1–2).

Такая постановка вопроса основана на мифе. Она допускает, что было время, когда люди сами несли ответственность за свой выбор. Однако коллективная ответственность существует так же давно, как государство, и новое здесь заключается лишь в том, чтобы дать некоторые преимущества в сфере распределения риска низшим классам.

Третий фактор наиболее важен и бесспорен, хотя ему и придают минимальное значение. Недавно начавшееся перераспределение риска, его издержек и ответственности за него построено таким образом, чтобы передать право на риск тем, кому он выгоден. Если его распределение когда-то было политическим вопросом и проводилось государственными либо частными институтами, то теперь оно все меньше присутствует в политическом процессе. Это придает деятельности властных структур более жесткий характер и делегитимизирует саму политику, сужая ее поле и порождая несбыточные надежды. Рассмотрим эти факторы по порядку.

Риск и частные рынки: подведение баланса

В 1880-е годы в штате Иллинойс был принят закон, согласно которому вводилось регулирование железнодорожных тарифов в пределах данного штата. Верховный суд США объявил его неконституционным на том основании, что пути сообщения между штатами нельзя произвольно делить на участки и что такой закон усложняет торговлю между штатами (Wabash..., 1886). В течение последующих десяти лет Верховный суд отменил также попытки штатов регулировать условия (т.е. риск) труда, технику безопасности (риск) на промышленных предприятиях, продолжительность рабочего дня женщин и детей. Суд считал, что, хотя Конституция США оставляет штатам все полномочия, не делегированные национальному правительству, штаты не вправе принимать "неразумные" постановления и, конечно, ущемлять право служащих и работодателей заключать индивидуальные контракты по найму (Lochner v. New York, 1905). Из всех крупных индустриальных держав той эпохи Соединенные Штаты более 40 лет оспаривали страной с минимальным государственным регулированием. Штаты не имели права издавать соответствующие постановления, а правительство США не собиралось этого делать. Это был "золотой век" мифологических представлений о свободном рынке, свободе предпринимательства и о добровольно взятом на себя риске.

Риск, однако, уравнивался разнообразными государственными мероприятиями по его контролю, снижению и распределению. Эти действия не считались полноценным "дебетом" в "исторической бухгалтерии" риска, поскольку Соединенные Штаты представляли собой федеральную систему, а интервенционистские действия исходили от легислатур штатов.

Те, кто разделяет миф о свободном рынке, движущей силой которого является деятельность, сопряженная с риском, основываются на общем представлении о том, что если бы государство проводило политику невмешательства, люди сознательно рисковали бы тем, что они имеют, чтобы добиться большего. В результате выиграло бы все общество, но политики своим вмешательством ограничивают этот процесс. Однако если мы начнем анализировать поведение собственно тех, кто занимается сопряженной с риском деятельностью, то довольно скоро увидим, что

лишь немногие привыкли идти на риск при отсутствии определенного минимума условий для этого. Социологи назвали бы последние функциональными предпосылками; мы же используем более понятный термин – *предварительные соображения*. Так, владельцы собственности не будут добровольно рисковать ей, если они не имеют определенного представления о состоянии рынка, на который они собираются вступить.

Ниже приводятся некоторые из тех предварительных соображений об условиях риска, на которые часто приходилось реагировать органам власти. Этот перечень отнюдь не претендует на полноту или логическую завершенность. Наша задача – "подвести баланс" истории риска в Соединенных Штатах Америки.

Обеспечение законности и порядка

Предсказуемость – первооснова всей человеческой деятельности. Наличие риска говорит об определенной угрозе, таящейся в окружении человека, которое в иной ситуации было бы безопасным. Хотя законы рынка способствуют укреплению социального порядка, прежде всего сам рынок не может существовать без последнего. При этом социальный порядок – нечто большее, чем порядок, установленный с помощью силы. Макс Вебер отметил в своей "Истории хозяйства", что важной предпосылкой современного капитализма стало "надежное законодательство". Он писал: "Королевский «дешевый суд» с правом помилования по воле монарха постоянно дезорганизует основанную на расчете экономическую жизнь". Одним словом, это та самая "тяжелая рука", против которой выступал Адам Смит. Отсюда вытекают несколько нижеследующих пунктов.

Обеспечение права собственности

Право собственности – выдумка юристов. Это всего лишь собирательное название всех законов, гарантирующих ее неприкосновенность. Обеспечивая право собственности, органы власти в большинстве случаев позволяют нам фактически владеть тем, что мы считаем своим. В вопросах собственности законодатели, судьи и рядовые граждане могут руководствоваться философскими и идеологическими соображениями, а свободный, нерегулируемый рынок устанавливает ее цену. Однако само право собственности – это лишь квинтэссенция того, что делается государством, чтобы я мог называть данную вещь своей и был уверен в том, что она действительно принадлежит мне. "Рынок" появляется не раньше, чем практически исчезает риск владения собственностью.

Обеспечение выполнения контрактов

Одной из великих социальных революций в мировой истории, описанной впервые сэром Генри Мейном, был переход от статусных отношений* к контрактным. Потребность в последних возрастала по мере того, как люди все чаще имели дело с жителями других мест и вступали в отношения обмена за пределами своих территорий, независимо от своего общественного положения. Контракт – это просто соглашение о контроле некоторых оговоренных аспектов будущего. Иными словами

* Определяемых положением лиц, вступающих в отношения друг с другом.–
Прим. ред.

– это средство контроля и упорядочения риска, присущего любым отношениям обмена. Но так же как в наши дни невозможно представить себе совершение сделок без заключения контрактов, практически невозможно представить себе контракт, в котором не подразумевались бы почти абсолютные гарантии того, что "государство" сделает все необходимое, чтобы нарушение условий контракта обошлось дороже, чем их неукоснительное соблюдение.

Разумеется, выполнение контрактов стало привычным делом в развитом индустриальном обществе. Это, безусловно, черта, присущая гражданскому обществу. Вместе с тем выполнение контрактов стало привычной нормой в результате повседневной, рутинной деятельности государственных органов. Найдутся люди, которые считают свободный рынок силой, способной обеспечить заключение и соблюдение контрактов без какого-либо вмешательства со стороны государства, но такая точка зрения ошибочна в двух отношениях. Во-первых, дела о нарушении контрактов рассматривает суд, а это государственное учреждение. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов определенную категорию лиц, не заботящихся о собственной репутации в силу того, что они не планируют заключение нового контракта после нарушения предыдущего, т.к. собираются просто покинуть данный рынок. Вопрос, по-видимому, стоит так: *либо* предприниматель должен положиться на механизм, обеспечивающий выполнение контрактов, *либо* современные частные рынки просто не будут функционировать.

Обеспечение условий обмена

Хотя контракт является сердцевиной любой концепции отношений обмена, имеются "посторонние" факторы, лежащие за пределами контракта, но делающие его возможным. Речь идет о согласованном обеими сторонами языке или терминах, в которых составляется контракт. В упрощенном виде этот очень сложный процесс лучше всего представлен концепцией *стандартизации*. Существуют по крайней мере две ее формы.

Первая – это юридический язык, т.е. очень формализованный, условный и стандартизованный набор положений, необходимых для устранения как можно большего числа неясностей, могущих возникнуть между договаривающимися людьми потому, что они недостаточно хорошо знают друг друга или могут со временем захотеть извлечь преимущества, вытекающие из слов и выражений, которые можно толковать в пользу той или иной стороны.

Вторая форма стандартизации – это технический язык. У права тоже есть своя техническая сторона, но здесь речь идет о концепциях и терминах, которые точно описывают характеристики товаров и услуг, обмениваемых по контракту. Главное здесь – общепринятые стандарты мер и весов, устанавливаемые которые должно правительство. Правда, множество стандартов устанавливается в наши дни частным сектором, в основном торговыми ассоциациями, но последние сами являются "частными правительствами", стоящими вне рынка и формирующими его тем или иным образом. Более того, принятые ими стандарты получают государственную оценку и поддержку как обычным законодательным путем, так и будучи представленными на утверждение.

Обеспечение условий для передачи государственной собственности в частные руки

В Соединенных Штатах передача государственной собственности в частные руки проводилась в таком крупном масштабе, что лишь немногие американцы представляют себе историческую роль своего правительства в деле создания внутреннего рынка путем раздела и "приватизации" земельного фонда, доставшегося государству по праву захвата и присоединения. Не получило должной оценки и то, в какой мере органы власти в США обладают правом определять условия передачи права владения и условия пользования государственной собственностью. Частное землепользование может осуществляться не только на правах свободного владения и аренды; его характер зависит также от того, в какой мере государство сохраняет за собой права на богатства недр, пути сообщения и воздушное пространство. Во многих странах со свободной рыночной экономикой, таких как Соединенные Штаты, вводятся жесткие ограничения на права частных собственников в указанном выше смысле. Эти ограничения, обусловленные многими факторами – от системы здравоохранения до охраны общественного порядка, – создают определенный риск для владельцев частной собственности.

Существует еще менее замеченный способ передачи государственного имущества в частные руки, тесно связанный с контролем риска. Это передача не столько самой недвижимости, сколько *привилегий*, т.е. лицензирование. Лицензия есть привилегия, дарованная суверенной властью на совершение тех или иных действий, которые без нее являются незаконными. Лицензирование, при всех связанных с ним злоупотреблениях, есть чисто государственная функция, осуществляемая практически во всех отраслях частного сектора – от профессиональных услуг (юридических, медицинских и т.п.) до ключевого института капитализма – акционерной фирмы.

Лицензирование и уменьшение риска настолько тесно связаны между собой, что являются почти синонимами. Государство использует лицензирование, чтобы ограничить доступ на определенные рынки и уменьшить число участников ради стабилизации цен на более высоком уровне, чем это может быть на свободном рынке. Лицензирование применяется также для изменения правил доступа на определенный рынок, чтобы оградить его от нечестной конкуренции и неквалифицированных людей и тем самым уберечь от риска всех потребителей соответствующих услуг. Само учреждение акционерной фирмы является формой лицензирования, и ее добиваются как привилегии. "Ограниченная ответственность" акционерной фирмы означает контролируемое государством ограничение риска для ее акционеров.

В прошлом статус акционерной фирмы являлся еще более ценной привилегией, поскольку он давал "бессмертие". Акционерная фирма – это вымышленное лицо, которое может распоряжаться собственностью, выступать истцом или ответчиком в суде, а главное – обеспечивать интересы акционеров сколь угодно долго, независимо от продолжительности их жизни. Устав акционерной фирмы некогда использовался как инструмент детального государственного регулирования; правительство включало в этот документ определенные условия и обязательства, ограничивавшие деятельность фирмы. В наши дни уставы акционерных

фирм не содержат практически никаких ограничительных условий. Однако любое правительство может возобновить практику ограничения прав акционерных фирм, если законодательные органы примут соответствующее решение. То обстоятельство, что органы власти могли использовать уставы акционерных фирм в качестве средства уменьшения риска в интересах всех потребителей, является важным аспектом процесса демократизации риска, о котором речь пойдет ниже.

Обеспечение накладных расходов общества

Речь идет о расходах на развитие сферы обмена, средств транспорта и связи и на национальную оборону. Все это называется также "общественными благами", поскольку пользоваться ими может все общество, а не только те, кто заплатил за эти блага.

Хотя феномен "общественных благ" или накладных расходов общества хорошо известен, он, по моему мнению, недостаточно учитывался и принимался во внимание в дискуссиях о риске. Между тем создание условий для привлечения капитала в эту сферу имеет самое непосредственное отношение к участию государства в контроле и распределении риска. Здесь риск неудачи имеет почти стопроцентный характер. Более того – те, кто больше всего склонен к риску, а именно предприниматели, с наибольшей энергией добиваются огосударствления этих функций капитала, чтобы получить гарантии и возложить часть издержек даже на редких, случайных и маловероятных пользователей "общественными благами". Таким образом, одной из ключевых функций правительства можно считать регулирование и контроль риска.

Обеспечение требований, предъявляемых к рабочей силе

Это – регулирующая функция накладных расходов общества. Предприниматели, особенно в промышленности, почти не рисковали бы, если бы не могли рассчитывать на наличие необходимой рабочей силы. Она должна присутствовать в достаточном количестве, в нужном месте и обладать должной квалификацией и стимулами к труду. Когда грамотность стала необходимой для выполнения большинства видов работ, обществу пришлось взяться за решение этой проблемы в национальном масштабе. Ни одно промышленное предприятие, как бы велико оно ни было по отношению к данной общине, не могло взять на себя производство этого общественного блага, чтобы удовлетворить свои собственные потребности в грамотных работниках. До введения обязательного обучения в государственных средних школах, органы власти принимали постановления по вопросам обучения ремеслам и аттестации квалифицированных работников. В отношении неквалифицированных и несвободных работников власти также принимали законы – против бродяжничества, бегства от хозяев и т.д. Подобно тому, как всеобщее обязательное среднее образование стало необходимым и логичным шагом навстречу потребности в контроле акционерного риска в конце XIX в., аналогичную роль позднее сыграло государство всеобщего благосостояния. Государство всеобщего благосостояния – это сравнительно недавняя попытка решить вековую проблему спасения людей от голода, не ослабляя их стимулы к труду. Рабочие использовали свою многочисленность, чтобы через политические механизмы уменьшить риск нищеты. Их политические успехи

принесли им, по выражению Пайвена и Кловарда, "право на прожиточный минимум", что позволило рабочим-маргиналам отказаться от некоторых видов работ или не трудиться совсем. Это сделало перспективы найма неопределенными и рискованными для работодателей, но этот риск может уравниваться другими политическими мероприятиями – от жестких разовых ограничений материальной помощи до смягчения законодательства об иммигрантах и роспуска профсоюзов. Все три противовеса росту материального благополучия наемных работников играли важную роль в послевоенной американской истории, и все их можно рассматривать как непосредственное участие государства в регулировании риска, присущего "индустриально-пролетарской" экономике.

Некоторые соображения по поводу традиционной политики контроля риска

Обзор перечисленных выше направлений традиционной политики контроля риска производит любопытное впечатление. Во-первых, без них невозможно представить современную экономику. Во-вторых, роль американского правительства в этом вопросе сопоставима с ролью любого правительства на Западе. К сказанному необходимо добавить третье соображение – Соединенные Штаты практически уникальны в том смысле, что основное бремя политики контроля риска ложится главным образом на правительства штатов, а не на федеральное правительство. Вот почему в США могла сохраниться идеология свободного рынка и невмешательства государства в экономику. Значительная часть традиционной деятельности органов власти, особенно в сфере регулирования риска, просто оставалась незамеченной. Вплоть до недавнего времени суды обычного права воспринимались американцами скорее как арбитры на частных рынках, чем как инструменты "государственной власти", и поэтому в Америке больше чем в других странах распространялся миф о рыночной системе, основанной на риске и свободной от вмешательства государства.

Напрашивается, наконец, четвертый вывод, который явно противоречит общепринятому мнению, что между деятельностью, сопряженной с риском, и контролем над ним существует обратная связь. Разве усиление контроля уменьшает склонность людей к риску? Широко распространено убеждение (укрепляющее самомнение предпринимателей), будто защита от риска делает людей "мягкотельными", а стремление рисковать заложено в природе человека и что не рискуют лишь "неженки". Тем не менее исторический опыт и масштаб государственной политики контроля риска, которая расширилась и укрепилась в XIX в. – в эту великую эпоху рискованного предпринимательства в Америке, – свидетельствуют об обратном. Связь между деятельностью, сопряженной с риском, и контролем за ним скорее прямая, чем обратная, и степень их взаимного влияния будет показана ниже.

Демократизация риска

Нам осталось рассмотреть еще одну категорию государственной политики в отношении риска, а именно организацию условий для распределения ответственности за ущерб, причиненный сопряженной с риском деятельностью.

Распределение ответственности

Эта категория известна столь же давно, как и остальные, но она несколько обособлена от них. Семь перечисленных выше категорий относятся к сфере контроля риска. Они вносят в человеческие отношения необходимый элемент предсказуемости и каждая из них контролирует риск таким образом, чтобы развивались именно те виды сопряженной с риском деятельности, которые максимально полезны для общества. Но все это не затрагивает один из потенциальных источников риска, особенно существенный в странах с развитой рыночной экономикой. Речь идет об ответственности за неумышленные негативные последствия обычной экономической деятельности. Ни один человек, будучи в здравом уме, не занялся бы предпринимательской деятельностью, если бы он нес личную ответственность за ущерб, явившийся следствием его хозяйственной деятельности и если бы эта ответственность не имела определенных границ, т.е. распространялась на весь период функционирования в хозяйственной системе произведенных им товаров или услуг.

В странах Запада существует обширное законодательство в области распределения ответственности за ущерб, причиненный в результате сопряженной с риском хозяйственной деятельности. В американском праве докапиталистического периода, которое продолжало действовать и в XIX в., распределение ответственности основывалось на общинном сознании. Это было время простых сделок, главным образом между членами одной и той же общины, а сделки совершались скорее на основе взаимной договоренности, а не контракта. Мортон Хорвиц в своей превосходной книге об этом периоде цитирует один трактат 1816 г., где сказано, что "между ремесленным мастером и его учеником существовали отношения как *in loco parentis* [в отчем доме (лат.). – *Прим. пер.*] (Horwitz, 1977, p.208). Ричард Эпстайн, этот, пожалуй, наиболее объективный из историков *laissez-faire*, соглашается с либералом Хорвицем в том, что "возникавшие в рамках [таких] договорных отношений несчастные случаи... урегулировались на основе [негласного] обязательства нанимателя (ответчика) компенсировать работнику (истцу) причиненный ему ущерб" (Epstein, 1982, p.780). В другой статье Эпстайн развивает свою обобщающую идею, что до 40-х годов XIX в. теория права "строго обязывала ответчика [как человека, занимающегося рискованной деятельностью] иметь статус *prima facie* [первого лица (лат.).– *Прим. пер.*], которое несет ответственность за причиненный ущерб (Epstein, 1980, p.5). И он определяет эту обязанность ответчика как "сохранение статуса *prima facie* при определении ответственности за причиненный ущерб, независимо от того, был ли этот ущерб нанесен им преднамеренно или явился следствием непринятия ответчиком разумных мер по предотвращению этого ущерба". Дела, которые подлежали рассмотрению в суде, обычно разбирались на основе следующих правил, ориентированных на мнение членов общины: сторона, не предпринимавшая никаких действий, более правомочна и, следовательно, ответственность за ущерб несет сторона, эти действия совершившая. Подобный общинный подход к решению этих вопросов имел подлинно антикапиталистический характер, поскольку бремя риска чаще всего ложилось на новатора и предпринимателя, т.е. на человека, начавшего сопряженное с риском дело.

Я остановился на этом отдаленном периоде по двум причинам: во-первых, чтобы показать, что широко распространенное в Америке отношение к ответственности за риск как к вине, которая должна быть доказана в индивидуальном порядке, имело место далеко не всегда. Во-вторых, я хочу отметить, что проблема ответственности за неумышленно причиненный ущерб есть основной вопрос государственной политики в области риска и не является ни непосредственным порождением рынка, ни его специфической характеристикой.

Именно 40-е годы XIX в. стали началом эпохи, которая характеризуется формулой "никакой ответственности без доказанной вины". По определению Хорвица, обязательственное право (tort law) заменило "следовавшее из обычного права предположение о безусловной ответственности лиц, совершивших рискованные действия, за весь причиненный ущерб". Согласно новой правовой политике, мера ответственности определялась "только результатами ответа на вопрос, небрежность какой из сторон послужила причиной ущерба" (Horwitz, 1977, p.95–96).

Для рискующих капиталистов это прозвучало как Великая хартия вольностей. Принцип индивидуализации обвинения и вины требовал ведения документации и хороших адвокатов, способных убедить суд. Судьи выдвигались либо из класса людей, занимающихся сопряженной с риском деятельностью, либо из сторонников общественного прогресса. Более того, новые принципы обязательственного права давали работодателям, управляющим и другим занимающимся сопряженной с риском деятельностью людям определенные преимущества. Такова, например, доктрина "неосторожности, приводящей к ущербу". Даже когда работодатель или владелец предприятия очевидно являлся активной стороной и его могли, особенно при соблюдении старой традиции, привлечь к ответственности за причиненный ущерб, он имел возможность выиграть дело, если сам потерпевший хотя бы в минимальной степени способствовал несчастному случаю, находясь, например, в неполюженном месте, будучи в нетрезвом состоянии, допустив неосторожность и т.п. (Friedman, 1973, p.409). Фридман описывает и некоторые другие уловки, благодаря которым ответственность за ущерб можно было, согласно обязательственному праву, переложить на потерпевших от чьих-либо рискованных действий (Friedman, 1973, p.262–263, 409–427). Все это привело Фридмана и Хорвица к заключению, что политика распределения ответственности за нанесение ущерба возлагала на потерпевших львиную долю риска, который принесла с собой промышленная революция (Horwitz, 1977, p.210; Friedman, 1973, p.416–417).

Хотя работы других исследователей не подтверждают эту точку зрения (см.: White, 1980; Rabin, 1981, p.925–961), все специалисты склоняются к признанию принципа распределения ответственности, который доминировал во второй половине XIX в. и в XX столетии. Он гласил: рискуй и носи ответственность за свои промахи и неосмотрительность. Однако, вопреки утвердившемуся мифу, этот принцип не оставался незыблемым. Дела, рассматривавшиеся в огромном количестве в судах штатов в период быстрой индустриализации и механизации производства, всегда вызывали споры между судьями и присяжными по вопросу о прямых последствиях каждого судебного решения о риске и причиненном им ущербе. С одной стороны, последовательная защита интересов пред-

принимателей и занимающихся сопряженной с риском деятельностью лиц перекладывала бы на общество заботу о множестве вдов и сирот, а с другой – постоянное принятие решений в пользу потерпевших свидетельствовало бы об отсутствии прогрессивных взглядов.

Судьям приходилось лавировать и уравнивать общественные ценности и принципы индивидуализма. Это обстоятельство помогает понять, почему анализ дел подобного рода не выявляет четких классовых предпочтений – ни в пользу предпринимателей, ни в пользу их жертв. Кроме того, попытки сбалансировать конфликтующие ценности в вопросе распределения ответственности за нанесенный ущерб вынуждали судебные органы играть роль, которая до этого была свойственна законодательным органам: в конечном счете способствовать ослаблению этики индивидуализма, на которой зиждилась обязательственная система ответственности. Поскольку судьи все настойчивее стремились принимать в расчет "последствия для общества", они не только начинали принимать решения политического характера, но подрывали саму этику индивидуализма.

Судебная практика явилась и причиной, и отражением фундаментального сдвига как в политике, так и во взглядах людей по вопросам распределения ответственности за нанесение ущерба вследствие деятельности, характеризующейся обычным уровнем риска (Lowi, 1986, p.197–220). По мере того как судебные органы брали за основу своих решений "последствия для общества", чтобы уравновесить индивидуальные претензии пострадавших, представители социальных наук стали определять индивида уже не просто как свободно мыслящую личность, определяющую свою собственную судьбу, а помещать это понятие в более широкий социальный контекст.

Рамки статьи позволяют привести только две коротких цитаты из высказываний специалистов в области социальных наук и один абзац из протокола суда, которые указывают на появление нового подхода к проблеме распределения ответственности за риск. Так, один из основателей Американской экономической ассоциации Ричард Эли, утверждая, что эта организация родилась из отрицания принципа *laissez-faire*, говорил: "Мы все больше и больше зависим друг от друга, и эта зависимость перерастает уже во взаимозависимость. Жизненные обстоятельства все больше выходят из-под индивидуального контроля". Через двадцать пять лет Джон Дьюи откликнулся на это замечание следующим образом: "Не будет преувеличением сказать, что наступает «новое время в отношениях между людьми»... Нашествие новых, относительно обезличенных и механических способов комбинированного поведения – выдающееся явление современности" (цит. по: Haskell, 1977, p.252–253).

Двадцать лет спустя после этого высказывания Дьюи Верховный суд штата Калифорния рассматривал иск одной официантки к компании "Кока-кола ботлинг". Истица пострадала от взрыва бутылки кока-колы при попытке открыть ее. Хотя потерпевшая не могла доказать факт недосмотра со стороны компании, суд признал ее иск правомочным, приняв во внимание следующие аргументы:

"Я считаю, что факт недосмотра со стороны производителя не должен более служить единственной основой для осуществления права истца на возмещение ущерба... Следует признать, что производитель несет полную ответственность тогда, когда ему известно, что поставляемый им товар

можно использовать без предварительной проверки, но тем не менее из-за этого товара страдают люди, т.к. он имеет дефекты... Даже если это происходит не по причине недосмотра... в интересах общества необходимо в любом случае призвать производителя к ответственности, чтобы свести к минимуму угрозу жизни и здоровью людей, которая исходит от поступающих в продажу некачественных товаров... Цена ущерба, потеря времени или здоровья могут обернуться величайшим несчастьем для потерпевшего и в то же время не принести пользу, т.к. риску подвергается множество людей, если производитель относится к этому как к издержкам своего бизнеса. В интересах общества пресечь продажу некачественных товаров, которые несут угрозу людям... Какими бы редкими и эпизодическими ни были случаи нанесения ущерба... риск подвергнуться ему является постоянным и всеобщим. От него необходимо избавиться при помощи столь же постоянной и всеобщей системы защиты, и товаропроизводитель в первую очередь обязан обеспечить такую защиту" (Escola v. Coca Cola..., 1944).

Судебный процесс в Калифорнии продемонстрировал, что сдвиг в этических воззрениях людей пошел гораздо дальше признания необходимости возместить ущерб этой официантке. Изменение этического подхода отражало отказ от чисто индивидуального подхода к обвинению и доказательству вины, типичного для XIX в. Обязательственное право является важной и непреходящей категорией американского права. Однако общая правовая политика распределения ответственности за ущерб, причиненный в силу нормального развития рыночной экономики и сопряженной с риском деятельностью, оказалась поставленной в Соединенных Штатах в довольно узкие рамки. Если подходить к проблеме с консервативных позиций, можно говорить о новой правовой политике по отношению к риску – столь же или более важной, чем обязательственное право. В своем крайнем выражении (используя эту формулировку для того, чтобы прояснить более тонкие различия, о которых будет сказано ниже) новая политика распределения ответственности не строится на обвинениях. Благодаря судебной практике и развитию законодательства проблему обеспечения интересов только одной стороны – либо работодателей как занимающихся сопряженной с риском деятельностью, либо пострадавших – удалось снять путем признания определенно-го уровня риска, допускающего возможность травматизма и других несчастных случаев на производстве, по возникновению которых пострадавшему выплачивается компенсация.

Этот универсальный принцип утвердился в странах с индустриальной экономикой; различаются лишь величина компенсаций и методы их финансирования. В целом развитие этой практики шло в направлении от индивидуальной ответственности к взаимозависимости, от индивидуальных обвинений – к сбалансированному распределению вины, от ответственности – к риску, от "неосторожности", определявшейся формулой "никаких обязательств без доказательства вины" – к полному отказу от понятия "неосторожность" в пользу денежной компенсации. Средства для выплаты компенсаций аккумулировались за счет страховых взносов, наценок на некоторые потребительские товары и т.д., что отражало сдвиг в сторону концепции "социальных издержек". Все это можно назвать социализацией риска и демократизацией обусловленных им издержек. Само распространение концепции риска указывает на склады-

вание новых этических воззрений: риск, как известно, связывается уже не с отдельными происшествиями, а с вероятностью их наступления.

Страхование – это, пожалуй, высшее проявление новой социальной политики по отношению к связанной с риском деятельности и ответственности за нее. В XIX в. еще сохранялись правовые нормы, гласившие, что люди не должны страховать себя от несчастных случаев, произошедших из-за их собственной неосторожности. Знаменитый председатель одного из судов справедливости* Кент так сформулировал это положение в 1828 г.: "Правильна та точка зрения, что страховщик не обязан... компенсировать ущерб, который можно было предотвратить, соблюдая должную осторожность" (цит. по: Horwitz, 1977, p.202). Иными словами, отношение к ответственности за причинение ущерба было в середине XIX в. настолько индивидуализированным, что сумму возмещения ущерба приходилось каждый раз определять заново. В результате первая компания по страхованию от несчастных случаев была основана лишь в 1864 г. К 1898 г. в США было только 14 страховых компаний, общая сумма страховых премий которых составляла всего 11 млн. долл. (Boorstin, 1971, p.82).

Распространение страхования гражданской ответственности опирается (по меньшей мере, в четырех аспектах) на демократизацию риска и ответственности за возмещение ущерба, обусловленного связанной с риском деятельностью. Во-первых, страхование гражданской ответственности есть механизм управления риском, и это подтверждает сделанное ранее наблюдение, что зависимость между контролем риска и сопряженной с риском деятельностью скорее прямая, чем обратная. То, что страхование гражданской ответственности обеспечивается в основном частным сектором, не имеет отношения к выдвинутому нами положению о социализации риска и ответственности за возмещение ущерба.

Во-вторых, размывая жесткие контуры индивидуальной ответственности, страхование даже стимулирует и обуславливает процесс социализации риска. Другими словами, страхование прокладывает прямой путь к социализации риска (что отнюдь не является синонимом социализма), переводя моральные аспекты ответственности в инструментальные проблемы издержек. Риск как таковой есть чисто инструментальная идея, которая имела бы совершенно иной смысл или вообще никакого, в более раннем контексте индивидуального обвинения и доказательства вины.

В-третьих, широкое распространение страхования кардинально расширило сферу регулирования риска. Это – полная противоположность регулированию риска через индивидуальную ответственность (в последнем случае "среда" страхования должна быть последовательно сокращена до таких размеров, чтобы можно было увидеть данного индивида и все обстоятельства дела). Когда проблемы переводятся в плоскость вероятности, как в случае страхования, это позволяет наилучшим образом учитывать все случаи прошлого и будущего ущерба независимо от его классификации. Подобный учет желателен, поскольку в этом случае каждый может рассчитывать на компенсацию, и необхо-

* Суды справедливости, все еще существующие в отдельных штатах, не рассматривают уголовные дела, а касаются только собственных прерогатив, когда последним наносится или угрожает ущерб, против которого "нет никакого средства защиты по закону". – *Прим. ред.*

дим, если статистические методы дают надежные прогнозы и позволяют точно установить суммы справедливых платежей.

В-четвертых, если ущерб становится объектом компенсации и широкого страхования и если признается, что расширение сферы регулирования риска способствует этому, то шаг к огосударствлению всей ответственности или ее части или, что то же самое, всего риска или его страхуемой части, становится совсем не таким большим.

Государство всеобщего благосостояния стало наиболее продвинутым и зрелым воплощением сдвига в политике и этике распределения ответственности за ущерб от сопряженной с риском деятельности. Государство всеобщего благосостояния – это метафора, но она уместна. Такое государство легитимно для всех классов общества. У него свои источники доходов и свои средства принуждения. Его граждане обладают правами, данными не столько Конституцией, сколько законодательными актами, но это, несомненно, права. Но по истечении почти сорока лет после его основания государство всеобщего благосостояния явно "расклеилось", а общественный консенсус распался из-за демократических преобразований 60-х годов. "Страховочная сеть" была распространена и на таких аутсайдеров капитализма, как черные бедняки, малоимущие женщины, их дети и престарелые родственники. Это дало толчок появлению новой теологии (или возрождению старой), которая основывалась на проповеди усердного труда и вере в то, что защищать людей от риска – значит обречь их на * гибель и проклятие. Общество, где люди от него избавлены, может быть только воплощением ада на земле.

Однако эта новая теология оказалась нежизнеспособной. В Соединенных Штатах государство всеобщего благосостояния должно было сохраниться. Президент Рейган торжественно обещал относиться к "страховочной сети" с уважением. Дэвид Стокман, этот радикальный политик, умудренный пережитым разочарованием и несбывшимися надеждами, высказался в своих замечательных воспоминаниях следующим образом: "Неудавшаяся рейгановская революция обнаружила то, что американские избиратели хотят, чтобы умеренная социальная демократия защищала их от грубых ударов капитализма" (Stockman, 1986, p.394). Государство всеобщего благосостояния было институционализировано осознанными его необходимостью демократическими и республиканскими администрациями, институционализировано благодаря утверждению новой социальной этики.

В самой концепции риска мораль отделялась от ответственности, а ущерб – следствие риска – рассматривался как сугубо инструментальная проблема. Произошла социализация риска, а точнее, риск "социализировал" капитализм. Однако за фасадом институционализации государства всеобщего благосостояния различим еще один фактор, обеспечивший невосприимчивость к проповеди старой протестантской этики среднего класса. Проповеди богачей не имеют особого значения для бедняков, пока первые защищены от риска. В Америке удачливые люди действительно рискуют, но они тщательно продумывают свои дей-

* Принятое в Соединенных Штатах название комплекса мер по социальному вспомоществованию в случае утраты работы, инвалидности, потере кормильца и в других экстренных ситуациях.– *Прим. ред.*

ствия. Показательные примеры осуществляемого при поддержке государства рискованного менеджмента для состоятельных лиц относятся к столь же недавнему времени, как и затраты на "страховочную сеть" для сбережений и займов населения стоимостью в 500 млрд. долл.

Теологи риска шли по ложному пути. Как заметила однажды обозреватель Элен Гудмен, чтобы заставить людей работать, в Соединенных Штатах создают систему наказания для бедных и систему поощрения для богатых. Слово incentive [побудительный мотив (англ.)– *Прим. пер.*] происходит от латинского глагола incipere [побуждать, поощрять (лат.)– *Прим. пер.*], который означает все, что воздействует на чувства людей. Американцы должны задуматься над проблемой демократизации побудительных мотивов и стимулов, и тогда риск можно будет предоставить самому себе.

ЛИТЕРАТУРА

- Вебер М.** История хозяйства. Очерки всеобщей социальной и экономической истории. Пг.: Наука и школа, 1923.
- Ahorni Y.** The No-Risk Society. Chatham (NJ): Chatham House, 1981.
- Boorstin D.J.** Democracy and Its Discontents. New York: Random House, 1971.
- Epstein R.** The Historical Origins and Economic Structure of Workers' Compensation Law // Georgia Law Review, Summer, 1982, v.16.
- Epstein R.** A Theory of Strict Liability: Toward a Reformulation of Tort Law. San-Francisco: Cato Institute, 1980.
- Escola v. Coca Cola Bottling Company**, 24 Cal. 2D453, 1944.
- Friedman L.** A History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1973.
- Haskell T.** The Emergence of Professional Social Science. Urbana: University of Illinois Press, 1977.
- Horwitz M.** The Transformation of American Law, 1780–1860. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- Lochner v. New York**, 198 U.S. 45, 1905.
- Lowi T.J.** The Welfare State: Ethical Foundations and Constitutional Remedies // Political Science Quarterly, 1986, v.101, no.2, p.197–220.
- Rabin R.** The Historical Development of the Fault Principle: A Reinterpretation // Georgia Law Review, 1981, v.15, p.925–961.
- Stockman D.A.** The Triumph of Politics: Why Reagan Revolution Failed. New York: Harper and Row, 1986.
- Wabash, St. Louis and Pacific Railroad Co. v. Illinois**, 118 U.S. 557, 1886.
- White G.E.** Tort Law in America. Stanford University Press, 1980.

**ТЕОРИИ ВОСПРИЯТИЯ РИСКА:
КТО БОИТСЯ, ЧЕГО И ПОЧЕМУ?**

Арон Вилдавски и Карл Дейк

*Aaron Wildavsky and Karl Dake. Theories of Risk Perception:
Who Fears What and Why*
Перевод к.ф.н. А.Д.Ковалева

Как странно, что никто, кажется, не замечает, что всякое наблюдение, если оно сколько-нибудь полезно, неизбежно будет за или против какого-то воззрения.

Чарльз Дарвин

Соперничающие теории в социальной науке редко сталкиваются друг с другом в поисках ответа на одни и те же вопросы. В частности, в исследованиях восприятия риска широкой публикой используется много разных подходов, но альтернативные формулировки, как правило, не проверяются. Практически полностью отсутствует целенаправленное сравнение соперничающих гипотез.

Вряд ли найдется много тем, которые в настоящее время лучше известны широкому кругу людей или считаются более важными для них, чем рассуждения о вреде, причиняемом современной техникой и технологией природной среде и человеческому телу, будь то химические канцерогены, атомная энергетика или вредные соединения, вносимые промышленностью в землю, воды, воздух или пищевые продукты. Уместно задаться вопросом: почему продукты и обычные действия, когда-то почитавшиеся безопасными (или достаточно безопасными), ныне по нарастающей воспринимаются как опасные? Кто (какая категория людей) считает технику в основном благотворной и кто – опасной? В какой мере разные люди равно обеспокоены одинаковыми опасностями, и в какой степени одни воспринимают как большой риск явления, о которых другие думают как о малом риске? И как меняется озабоченность данных индивидов относительно различных видов риска, таких как война, социальные отклонения, экономические потрясения, а также технологический риск? Только сравнивая поведение в разных типах опасности, мы можем выявить общую тенденцию, узнать, расположены или не расположены индивиды к риску и зависит ли их восприятие опасности от значения, которое они придают объектам своего потенциального беспокойства. Мы предлагаем проверять любую теорию восприятия риска по ее способности предсказывать и объяснять, как и какие потенциальные опасности будут воспринимать различные категории людей.

Наиболее широко распространенную теорию восприятия риска мы называем *теорией знания*: в ее основе – часто неявное представление, будто люди воспринимают технологии (и другие явления) как опасные, потому что они *знают* об их опасности. В критическом обзоре "Риск и культура" Мэри Дуглас и Арона Вилдавски (Douglas and Wildavsky, 1982), например,

ясно выявлено убеждение Джона Холдрена, что воспринимающие – это просто регистраторы реальной степени опасности (раз люди встревожены, им есть о чем беспокоиться): "Возможно, нам достаточно значительно более простого описания: людей чаще всего тревожат те виды риска, которые кажутся прямой угрозой их благополучию в данный момент; проблемы окружающей среды преобладают только там и тогда, когда люди полагают, что риск насилия и экономической разрухи находится под контролем... Что плохого, в конце концов, в простой идее (сравнимой с идеей Маслоу о ступенях желаний), что озабоченность более тонкими и сложными угрозами материализуется только в том случае, если устранены наиболее прямые и очевидные угрозы?" (Holdren, 1983, Quotation 36).

Если Холдрен прав, то восприятие опасности должно соответствовать тому, что индивиды знают об исследуемом виде риска. Но совпадают ли восприятие и знание риска?

Другая общепринятая причина восприятия риска выводится из *теории личности*. О личности часто говорят так, что индивиды оказываются неразличимыми по их отношению к риску: одни любят рисковать и потому часто идут на риск, тогда как другие не терпят риска и стараются избежать его, сколько могут. Мы проверим этот обычный, хотя и крайний, взгляд. Мы проанализируем также более умеренную теорию личности, согласно которой устойчивые индивидуальные различия людей систематически коррелируют с их восприятием опасности. Оставляя в стороне характеры экстраординарные, типа Обломова, провалявшегося всю жизнь в постели, или Ивлы Нивалза, ломающего себе руки и ноги в чересчур смелых предприятиях, эта версия теории личности предполагает, что индивиды по своей конституции достаточно устойчивым образом идут на риск либо избегают рискованных положений (MacCrimmon and Wehrung, 1986; Mitchell, 1983). Но имеют ли отношение традиционно определяемые атрибуты личности (свойства внутриспсихической динамики и межличностные черты) к восприятиям риска и предсказуемым предпочтениям?

Третий набор объяснений восприятия опасности публикой следует двум версиям *экономической теории*. По одной, богатые более охотно идут на риск, связанный с техникой, потому что они больше получают выгод от этого и как-то защищены от вредных последствий. Бедные, предположительно, испытывают прямо противоположные чувства. Однако в "постматериалистической" версии этой теории обоснование перевернуто: именно поскольку повысились жизненные стандарты, богатые меньше заинтересованы в том, что имеют (изобилие), и в том, что привело их к этому (капитализм), а больше – в том, что они хотели бы сохранить и приобрести (близость в социальных отношениях, лучшее здоровье) (Inglehart, 1977). Но верно ли, что новоиспеченный богач устремляется к "постматериалистическим" ценностям (типа межличностной гармонии) и потому боится загрязнения окружающей среды и химического заражения?

Другие объяснения реакций общественности на потенциальные опасности опираются на *политические теории*. Здесь споры о риске рассматриваются как борьба интересов, например, за стратегический пост или партийное преимущество. Политическая модель столкновения интересов связывает конфликты с различными положениями, занимаемыми людьми в обществе. Надежды на объяснение при таких подходах к вос-

приятию риска перемещаются на социальные и демографические характеристики: пол, возраст, принадлежность к социальному классу, либеральные или консервативные воззрения и/или приверженность к разным политическим партиям (Cotgrove, 1982; Nelkin and Pollack, 1981).

Теоретики культуры, рассматривающие индивидов как активных организаторов собственных восприятий, предположили, что люди выбирают, чего бояться, дабы поддерживать свой образ жизни (Douglas, 1982 [1978]; 1979; 1982; см. также Douglas and Wildavsky, 1982; Thompson et al., 1990). При этом подходе избирательное внимание к феномену риска и предпочтения среди разных возможных типов его принятия (или избегания) соответствуют культурным *предрассудкам* (предпочтениям), т.е. мировоззрениям или идеологиям, необходимо предполагающим глубоко укорененные ценности и верования, которые стоят на защите различных моделей общественных отношений. В "культурной теории" восприятия риска общественные отношения представлены как небольшое число различающихся моделей межличностных взаимоотношений – иерархических, эгалитарных или индивидуалистических¹. Ни культурным предрассудкам, ни общественным отношениям не отдается каузальный приоритет: их всегда находят вместе в процессе взаимного усиления. Поэтому не существует отношений без оправдывающих их культурных предрассудков и предрассудков без поддерживающих их отношений.

Социально жизнеспособное сочетание культурных предрассудков и общественных отношений называют в культурной теории *образом жизни*, или *политической культурой*. Тогда, если говорить более конкретно, иерархические, эгалитарные и индивидуалистические формы общественных отношений гипотетически должны порождать отличающиеся представления о том, что составляет риск, а что нет. Среди всех возможных видов риска те, что избраны как объект тревоги или демонстративного безразличия, функциональны в том смысле, что они укрепляют один из существующих образов жизни и ослабляют другие. Этот тип объяснения более ориентирован на политику (поскольку у всех, придерживающихся данного восприятия, имеется политическое устремление: защита некоего одного образа жизни и критика других), но одновременно и менее очевиден (какая связь между восприятием риска и образом жизни?).

Так как культурные предрассудки суть формы идеологии, то определенные предрассудки и соответствующие идеологии (например, эгалитаризм и политический либерализм) должны были бы тесно коррелировать между собой. Однако варьируя опасности, на которые реагируют люди, мы увидим, что различие "левые/правые" способно уловить культурный предрассудок эгалитаризма, но не годится, чтобы развести проявления иерархизма и индивидуализма. Поэтому мы ожидаем, что три выделенных типа культурных предрассудков (иерархические, эгалитарные

¹ Культурная теория дополнительно описывает еще две культуры: фаталистов и отшельников. Она также проводит более тонкие различия относительно природы, технологии и восприятия риска, чем обсуждаемые здесь. Если бы была возможность, мы предпочли бы измерять культурные предрассудки в их социальном контексте. Вместо этого мы приняли подход, продиктованный данными обследований, имевшимися в нашем распоряжении. Мы определяем культурные предрассудки как мировоззрения.

и индивидуалистические) способны предсказывать широкий разброс возможных восприятий риска лучше, чем политические идеологии.

Согласно "культурной теории", приверженцы иерархии воспринимают социальные отклонения как опасные, поскольку такое поведение может разрушить предпочитаемую ими форму общественных отношений ("вышестоящие/подчиненные"). Напротив, защитники большего равенства условий для всех питают отвращение к ролевой дифференциации, характерной для иерархии, ибо ранжированные позиции подразумевают неравенство. Эгалитаристы из принципа отвергают предписания, присущие иерархии (т.е. кому, что и с кем дозволено делать), и потому проявляют гораздо меньший интерес к проблеме социальных отклонений.

Индивидуалистические культуры поддерживают самоуправление, включая свободу предлагать свою цену и торговаться. Лабиринт нормативных ограничений и средств контроля за поведением, ценимых в иерархиях, воспринимается как угроза автономии индивидуалиста, который предпочитает договариваться сам за себя. Социальные отклонения угрожают индивидуалистической культуре, только когда они ограничивают свободу или разрушают рыночные отношения. Мы ожидаем, что позиция индивидуалистов займет место где-то между иерархистами, для которых социальное отклонение – это главный вид риска, и эгалитаристами, для которых оно, самое большее, второстепенная опасность.

Эгалитаристы провозглашают, что природа "хрупка", чтобы оправдать уравнивательный раздел ограниченных мировых ресурсов и обуздать индивидуалистов, чья жизнь, состоящая из торговых предложений и сделок, была бы невозможной, если бы они чересчур много заботились о разрушаемой природе. Напротив, индивидуалисты объявляют природу "рогом изобилия", так что если освободить людей от искусственных ограничений (вроде чрезмерных экологических предписаний), то не будет пределов изобилию для всех, и это с избытком компенсирует любой вред природе. Иерархисты имеют нечто общее с индивидуалистами: они одобряют технологические процессы и конечные продукты при условии, что признанные ими эксперты выдали соответствующие сертификаты безопасности и соблюдаются соответствующие правила и инструкции. В иерархической культуре природа предстает "испорченной или терпимой": будет хорошо, если вы последуете правилам и рекомендациям экспертов этой культуры, и плохо, если нет.

Люди, придерживающиеся эгалитарных предрассудков (те, кто ценит значительное равенство среди людей, т.е. уменьшение различий по богатству, расе, полу, авторитету и т.д.), обычно воспринимают опасности, связанные с технологией, как большие, а приносимые ею выгоды – как малые. Они убеждены, что неэгалитарное общество, по всей вероятности, будет эксплуатировать окружающую среду точно так же, как оно эксплуатирует бедняков. Сторонники эгалитаризма склонны также относительно низко расценивать степень опасности (риска) социальных отклонений. Какое право имеет бессовестная система неравенства предъявлять требования и устанавливать нормы? Риск войны будет, видимо, восприниматься эгалитаристами как низкий или умеренный: скорее всего они не доверяют военным (прототипической иерархии), а кроме того убеждены, что внешняя военная угроза преуве-

личивается сложившейся коалицией сил иерархии и индивидуализма, чтобы оправдать систему неравенства у себя дома.

В отношении индивидуалистических предрассудков предсказания "культурной теории" прямо противоположны: здесь опасности технологии будут восприняты как минимальные, отчасти потому, что люди с такими предрассудками верят в способность своих институтов контролировать либо компенсировать опасности неблагоприятных событий. Те же самые предсказания имеют силу и для культурных предрассудков в пользу иерархии. Как же тогда мы различаем мировоззрения иерархистов и индивидуалистов? Благодаря изменениям объекта их интересов. Если просто изучать технологический риск, то две эти культурные тенденции останутся безнадежно перепутанными друг с другом. Обе они оптимистичны в отношении техники: индивидуалисты считают ее средством для неограниченного индивидуального предпринимательства (здесь риск – это благоприятная возможность, шанс удачи), а иерархисты верят, будто технология, одобренная экспертами, обязана улучшать качество жизни.

Из-за сильного акцента на повиновение авторитету внутри иерархии ее охранители пренебрегают отклоняющимся поведением. Напротив, индивидуалисты, предпочитающие заменять авторитет самоуправлением, гораздо более охотно допускают поведение, которое является продуктом соглашения. И здесь тоже надо проводить различие. Если объектом внимания оказывается личное поведение, например сексуальное общение взрослых людей при взаимном согласии, индивидуалисты будут против вмешательства правительства. Но если речь идет о преступлении или насилии по отношению к установившимся институтам, они, наверное, будут более расположены поддержать жесткие правительственные меры. Иными словами, если "порядок" означает поддержку стабильности и легитимности, необходимых для рыночных отношений, индивидуалисты будут поддерживать соответствующие действия правительства.

Экономические передряги представляют собой иной вид риска, чем опасности техники или социальных отклонений, поскольку почти все люди имеют основание беспокоиться о состоянии экономики: эгалитаристы – потому, что понижение уровня жизни особенно болезненно для самых бедных, а приверженцы иерархии – потому, что оно ослабляет систему, которую они хотят защитить. Однако нас не удивит, если индивидуалисты больше других будут бояться экономического провала, так как рынок – центральный институт в их жизненной системе, состоящей в заключении договоров.

Чтобы проверить эти соперничающие теории (знания, личности, экономическую, политическую и культурную), мы воспользуемся архивом данных по восприятию риска, основанным Кеннетом Крэйком, Дэвидом Бассом и Карлом Дейком в Институте исследования и оценки личности при Калифорнийском университете². Мы использовали ин-

²Были проведены глубокие исследования в отношении трехсот обычных граждан. Сюда включалось и то, в какой мере они воспринимают технологии, каковы предпочтения в подходах к социальным решениям и политике социального риска, доверие к институтам, социотехнологические и политические ориентации, личные ценности, экологические установки, самоописания личностных предпосылок и проч.

декс готовности идти на риск из их "Политики социального риска", чтобы измерить степень индивидуальной предрасположенности к риску применительно к технологии по сравнению со степенью его отторжения. Этот индекс риска помогает оценить, должны ли феномены принятия риска и управления риском рассматриваться как возможности для движения вперед или же как шаги к катастрофе на социальном уровне (т.е. в масштабах всего общества).

[...]

Рассмотрим эти данные под углом зрения перечисленных выше теорий восприятия риска. Если бы было правильным предположение, что чем больше люди знают о технологическом риске или о технологии вообще, тем больше их это тревожит, то отсюда следовало бы, что острота восприятия риска согласуется с таким знанием. Измеряя и сопоставляя самооценки знания о технологиях и самооценки уровня образования, мы видим прямо противоположное.

Наши результаты показывают, что те, кто оценивает свое личное знание технологий высоко, склонны оценивать связанные с ними блага выше, чем те, кто меньше уверен в своем знании³. Люди, заявляющие о высоком уровне своего образования, склонны менее остро воспринимать риск войны. В остальном знание и образование, как его оценивают сами опрошиваемые, только слабо (т.е. статистически несущественно) коррелируют с предпочтениями в принятии социального риска или к восприятию риска, присущего технологии, окружающей среде, социальным отклонениям и экономическим неурядицам.

Вдобавок, чем больше индивидуальные оценки статистики несчастных случаев за год соответствуют расчетным оценкам экспертов, тем более вероятно, что данное лицо расценит другие виды риска как малые (по крайней мере, в сравнении с менее аккуратными людьми). Но хотя в целом те, кто ближе к экспертным оценкам смертности, менее остро ощущают риск, они также и менее оптимистичны относительно выгод технологии. *В итоге напрашивается вывод, что самооценка знания и точность восприятия имеют минимальную связь с восприятием риска.*

Взяв за исходный пункт личность, мы обнаруживаем, что людей, которые определенно чувствуют необходимость принятия нашим об-

Исследования проводились на двух выборках, по нескольким городам в регионе Сан-Франциско: Ричмонду, Окленду, Пидмунту и Аламеде. Стратифицированные выборки были получены на основе анализа социальных тенденций, что обеспечило детальную информацию о медианных демографических характеристиках для каждого адресного почтового кода в районе выборок. Участники вербовались согласно отбору по телефонному справочнику посредством письменных приглашений и телефонных переговоров. Большинство, но не все, из представленных результатов основаны на анализе выборки 2 (которая включала 134 участника), причем выборка 1 (166 участников) остается доступной для повторения этого исследования.

³ На всем протяжении этого очерка мы сообщаем величины корреляций, но не средние значения или средние разности. Для выборки 2 (134 участника) величина корреляции должна быть больше +0,15 или меньше -0,15, чтобы стать статистически значимой. Это ничего не говорит о средних оценках или сравнениях по группам.

ществом технологического риска, можно описать как терпеливых, воздержанных, склонных к примирению и к порядку (т.е. мера склонности к риску положительно коррелирует с такими личностными чертами, как "потребность в порядке" и "уважительность") (Allport, 1961; см. также: Personality..., 1937). Защитники социального риска не склонны быть агрессивными, или очень самостоятельными, или выставлять себя напоказ. Более вероятно, что они будут осторожными и скромными, предпочитающими стабильность изменению. *Эта модель предполагает тип личности, ориентированной в пользу технологического риска, которая проявляется как личность послушного и исполнительного гражданина, уважающего авторитеты.* Такая структура личности исключительно хорошо согласуется с политической культурой иерархии.

Напротив, те граждане, которые более остро воспринимают риск, связанный с технологией и ухудшением окружающей среды, склонны положительно относиться к назойливому самовыражению, независимости и потребности в изменениях и отрицательно – к потребности в порядке, почтительности и терпеливости (т.е. их наклонности прямо противоположны наклонностям принимающих социальный риск). *Эта модель свойств личности, отторгающей технологический риск, годится также и для тех, кто одобряет эгалитаризм.*

Кроме того, более вероятно, что сторонники эгалитаризма в личном плане тяготеют к принятию риска, но в социальном – не расположены к нему, тогда как предпочитающие иерархию склонны лично отвергать риск, но социальную они – за риск по отношению к технологии и окружающей среде. *Таким образом, у нас нет никаких доказательств существования некоей личностной структуры, которая при всех обстоятельствах является либо рископринимательской, либо отторгающей риск.* Принятие и отвержение риска вовсе не однородные цельные процессы, но зависят от того, какие чувства люди испытывают к объекту своего внимания. Культурная теория в состоянии предвидеть, например, что иерархисты скорее всего станут выступать против всякого риска, когда возникают угрозы государству, политическому организму.

По сравнению с консерваторами, те, кто считают себя либералами и склонны отвергать технологический риск на социальном уровне, вероятно, будут оценивать опасности технологии и окружающей среды как очень большие. Они сравнительно мало озабочены риском как следствием социального отклонения.

[...]

Членство в политических партиях менее значимо для предсказания восприятий и предпочтений риска, чем идеологические расхождения по линии "левые/правые", особенно в стане демократов (без сомнения, потому, что Демократическая партия более разнородна). Наши выводы будут информативными, когда мы ответим на вопрос, что именно в отношении себя к либералам или консерваторам порождает такие большие расхождения при сравнении с самоопределением в качестве демократа или республиканца. Будь то по самооценке или политической приписке, *либералы имеют сильные тенденции одобрять эгалитаризм ($r=0,52$ и $r=0,50$) и порицать иерархию ($r=-0,55$ и $r=-0,51$) и индивидуализм ($r=-0,37$ и $r=-0,31$).* Подобным же образом членство в Демократической партии коррелирует с эгалитаризмом ($r=0,30$), но не предсказывает согласия или расхождения с

иерархической или индивидуалистской точкой зрения. Республиканцы имеют склонность к индивидуалистическим ($r=0,31$) и иерархическим ($r=0,40$) предрассудкам и сильную тягу к отрицанию эгалитаризма ($r=-0,45$). Эти корреляции между членством в политической партии, идеологией левых или правых и культурными предрассудками очень велики, судя по нормам статистических обследований.

Как выглядит "культурная теория" в сравнении с другими подходами к восприятию риска? *Культурные предрассудки (предпочтения) обеспечивают лучшие предсказания восприятий риска и предпочтений в выборе видов риска, чем измерения знания и свойств личности и, по меньшей мере, обладают такой же предсказательной силой, как политическая ориентация.* Мы находим, что эгалитаризм тесно связан с восприятием технологического и экологического рисков как очень серьезной проблемы для нашего общества ($r=0,51$) и, следовательно, с сильным неприятием риска в этих областях ($r=-0,42$). Эгалитаризм также положительно связан со средним уровнем восприятия риска и отрицательно – со средним восприятием выгод от 25 рискованных технологий. Вряд ли кто другой изобразит технологию в худшем свете: мало выигрыша, много риска, и рискованная игра не стоит свеч.

Индивидуалистические и иерархические предрассудки, напротив, положительно связаны с выбором в пользу принятия технологического риска ($r=0,32$ и $r=0,43$) и со средним уровнем оценок преимуществ, доставляемых технологией ($r=0,34$ и $r=0,37$). Здесь картина более оптимистична: преимущества технологии велики, а риски малы, и потому общество должно продолжать мириться с риском, чтобы получить побольше благ, которых прогресс приносит вместе с ним.

[...]

Всякий раз как другие исследования представляют сравнимые данные, они демонстрируют, что наиболее мощный фактор для предсказания восприятий риска – это вера в институты или идеологию, которая, в основном, говорит о том, каким институтам можно доверять. *Такие данные показывают, что, как бы ни концептуализировать мировоззрения (в форме ли политической идеологии или культурных предпочтений), они лучше всего объясняют типовые образцы восприятий риска.*

В итоге, великие битвы нашего времени по поводу опасностей технологии сводятся в сущности к борьбе вокруг доверия либо недоверия социальным институтам, т.е. к культурному конфликту. И как только мы изменяем направление внимания, мы открываем, что эгалитаристы (которых социальные отклонения пугают меньше, чем иерархистов и индивидуалистов) сильно опасаются развития техники и технологии, видя в этом (как утверждает культурная теория) лишь корпоративную алчность, ведущую, по их убеждению, к неравенству. Индивидуалисты, которые верят в соревнование и испытывают чрезмерную неприязнь к ограничениям, налагаемым на то, что они считают взаимовыгодными отношениями, видят в технологии благо. Иерархистов, которых пугают беспорядок и размывание статусных различий, больше эгалитаристов тревожат социальные отклонения и меньше – технологические опасности.

[...]

Прошло уже два десятилетия с тех пор, как Чонси Старр в новаторском очерке "Социальная выгода против технологического риска" вопрошала, как много наше общество согласно платить за безопасность (Starr, 1969). С того времени в связи с проблемами технологического риска сложилось живое и энергичное исследовательское сообщество (National Research Council..., 1989). Своей статьей мы надеемся повернуть исследования восприятия риска в правильном направлении: (1) расширяя круг задаваемых вопросов с целью охватить новые образцы восприятия риска (не только технологическую опасность, но и угрозы войны, социальных отклонений, экономического спада и т.д.); и (2) сравнивая соперничающие объяснения страхов широкой публики. Как и предсказано культурной теорией, мы обнаруживаем, что способ восприятия многообразия рисков индивидами соответствует их образу жизни.

ЛИТЕРАТУРА

- Allport G.** Pattern and Growth in Personality. New York: Henry Holt and Company, 1961.
- Cotgrove S.** Catastrophe or Cornucopia: The Environment, Politics and the Future. Chichester: John Wiley and Sons, 1982.
- Douglas M.** Cultural Bias. In: In the Active Voice. London: Routledge and Kegan Paul, 1982, p.183-254.
- Douglas M.** Essays in the Sociology of Perception. London: Routledge and Kegan Paul, 1982.
- Douglas M.** Passive Voice Theories in Religious Sociology // Review of Religious Research, 1979, v.21, p.51-56.
- Douglas M. and Wildavsky A.** Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.
- Holdren J.** The Risk Assessors // Bulletin of the Atomic Scientists, 1983, no.39.
- Inglehart R.** The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princes: Princes University Press, 1977.
- National Research Council, Committee on Risk Perception and Communication.** Improving Risk Communication. Washington (DC): National Academy Press, 1989.
- MacCrimmon K.R. and Wehrung D.A.** Taking Risks: The Management of University. New York: Free Press, 1986.
- Mitchell R.G.** Mountain Experience: The Psychology and Sociology of Adventure. Chicago: University of Chicago Press, 1983.
- Nelkin D. and Pollack M.** The Atom Besieged: Antinuclear Movements in France and Germany. Cambridge: MIT Press, 1981.
- Personality: A Psychological Interpretation.** New York: Henry Holt and Company, 1937.
- Starr Ch.** Social Benefit versus Technological Risk: What is our Society Willing to Pay for Safety? // Science, 1969, v.165, p.1232-1238.
- Thompson M., Ellis R., Wildavsky A.** Cultural Theory, or, Why All that is Permanent is Bias. Boulder: Westview Press, 1990.